

Лев Николаевич

Толстой

Не могу молчать

(1908 г.)

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1956

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы:

Государственный музей Л.Н. Толстого

Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Компания АBBYY

Подготовлено на основе электронной копии 37-го тома

Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 37-му тому

Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

info@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Л. Н. ТОЛСТОЙ. 1908

Первая страница первой рукописи «Не могу молчать»

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

I

«Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе».

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрерывающиеся казни, казни, казни.

Беру нынешнюю газету.

Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде».1

Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем, начиная от

яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим, но которую стараемся всеми силами внушить им, — двенадцать таких людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их. Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек, с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли.

И вот, один за другим, живые люди сталкиваются с выдернутых из-под их ног скамеек и своею тяжестью сразу затягивают на своей шее петли и мучительно задыхаются. За минуту еще перед этим живые люди превращаются в висящие на веревках мертвые тела, которые сначала медленно покачиваются, потом замирают в неподвижности.

Всё это для своих братьев людей старательно устроено и придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвещенными. Придумано то, чтобы делать эти дела тайно, на заре, так, чтобы никто не видал их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодеяния так бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый мог думать и сказать: не он виновник их. Придумано то, чтобы разыскивать самых развращенных и несчастных людей и, заставляя их делать дело, нами же придуманное и одобряемое, делать вид, что мы гнушаемся людьми, делающими это дело. Придумана даже такая тонкость, что приговаривают одни (военный суд), а присутствуют обязательно при казнях не военные, а гражданские. Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей душе, о своем человеческом звании.

Врач обходит тела, ощупывает и докладывает начальству, что дело совершено, как должно: все двенадцать человек несомненно мертвы. И начальство удаляется к своим обычным занятиям с сознанием добросовестно исполненного, хотя и тяжелого, но необходимого дела. Застывшие тела снимают и зарывают.

Ведь это ужасно!

И делается это не один раз и не над этими только 12-ю несчастными, обманутыми людьми из лучшего сословия русского народа, но делается это, не переставая, годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела.

И делается не только это ужасное дело, но под тем же предлогом и с той же хладнокровной жестокостью совершаются еще самые разнообразные мучительства и насилия по тюрьмам, крепостям, каторгам.

Это ужасно, но ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, на войне, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчета, заглушающего чувство. Этим-то особенно ужасны эти дела. Ужасны тем, что ничто так ярко, как все эти дела, совершаемые от судьи до палача, людьми, которые не хотят их делать, ничто так ярко и явно не показывает всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими.

Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь, – это возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его духовное «я», лишает его его духовного блага. А это самое делают те люди, которые устраивают всё это и спокойно, ради блага людей, заставляют людей, от судьи до палача, подкупами, угрозами, обманами совершать эти дела, наверное лишаящие их их истинного блага.

И в то время как всё это делается годами по всей России, главные виновники этих дел, те, по распоряжению которых это делается, те, кто мог бы остановить эти дела, – главные виновники этих дел в полной уверенности того, что эти дела – дела полезные и даже необходимые, – или придумывают и говорят речи о том, как надо мешать финляндцам жить так, как хотят этого финляндцы, а непременно заставить их жить так, как хотят этого несколько человек русских, или издают приказы о том, как в «армейских гусарских полках обшлага рукавов и воротники доломанов должны быть по цвету последних, а ментики, кому таковые присвоены, без выпушки вокруг рукавов над мехом».

Да, это ужасно!

II

Ужаснее же всего в этом то, что все эти бесчеловечные насилия и убийства, кроме того прямого зла, которое они причиняют жертвам насилий и их семьям, причиняют еще большее, величайшее зло всему народу, разнося быстро распространяющееся, как пожар по сухой

солеме, развращение всех сословий русского народа. Распространяется же это развращение особенно быстро среди простого, рабочего народа потому, что все эти преступления, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается простыми ворами и разбойниками и всеми революционерами вместе, совершаются под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого, не только оправдываемого, но поддерживаемого разными, нераздельными в понятиях народа с справедливостью и даже святостью учреждениями: сенат, синод, дума, церковь, царь.

И распространяется это развращение с необычайной быстротой.

Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России. Помню, как тогда Соловьев Владимир с радостью рассказывал мне, как не могли по всей России найти другого палача, и одного возили с места на место. Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет попрежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертной билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.

Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

«Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму, и, будьте покойны, сделаю, как должно».

Не знаю, принято ли было, или нет предложение, но знаю, что предложение было.

Так действуют эти совершаемые правительством преступления на худших, наименее нравственных людей народа. Но ужасные дела эти не могут оставаться без влияния и на большинство средних, в нравственном отношении, людей. Не переставая слыша и читая о самых ужасных, бесчеловечных зверствах, совершаемых властями, то есть людьми, которых народ привык почитать как лучших людей, — большинство средних, особенно молодых, занятых своими личными делами людей, невольно, вместо того чтобы понять то, что люди, совершающие гадкие дела, недостойны почтения, делают обратное рассуждение: если

почитаемые всеми люди, рассуждают они, делают кажущиеся нам гадкие дела, то, вероятно, дела эти не так гадки, как они нам кажутся.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабёж, воровство, ложь, мучительства, убийства считаются несчастными людьми, подвергшимися развращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку.

Да, как ни ужасны самые дела, нравственное, духовное, невидимое зло, производимое ими, без сравнения еще ужаснее.

III

Вы говорите, что вы совершаете все эти ужасы для того, чтобы водворить спокойствие, порядок.

Вы водворяете спокойствие и порядок!

Чем же вы его водворяете? Тем, что вы, представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями, разрушаете в людях последние остатки веры и нравственности, совершая величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительство и – последнее самое ужасное преступление, самое противное всякому не вполне развращенному сердцу человеческому: не убийство, не одно убийство, а убийства, бесконечные убийства, которые вы думаете оправдать разными глупыми ссылками на такие-то статьи, написанные вами же в ваших глупых и лживых книгах, кощунственно называемые вами законами.

Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожения земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидеть, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя

внутри.

Ведь это слишком ясно.

Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а всё дело в духовном настроении народа, которое изменилось и которое никакими усилиями нельзя вернуть к прежнему состоянию, — так же нельзя вернуть, как нельзя взрослого сделать опять ребенком. Общественное раздражение или спокойствие никак не может зависеть от того, что будет жив или повешен Петров или что Иванов будет жить не в Тамбове, а в Нерчинске, на каторге. Общественное раздражение или спокойствие может зависеть только от того, как не только Петров или Иванов, но всё огромное большинство людей будет смотреть на свое положение, от того, как большинство это будет относиться к власти, к земельной собственности, к проповедуемой вере, — от того, в чем большинство это будет полагать добро и в чем зло. Сила событий никак не в материальных условиях жизни, а в духовном настроении народа. Если бы вы убили и замучили хотя бы и десятую часть всего русского народа, духовное состояние остальных не станет таким, какого вы желаете.

Так что всё, что вы делаете теперь, с вашими обысками, шпионствами, изгнаниями, тюрьмами, каторгами, виселицами — всё это не только не приводит народ в то состояние, в которое вы хотите привести его, а, напротив, увеличивает раздражение и уничтожает всякую возможность успокоения.

«Но что же делать, говорите вы, что делать, чтобы теперь успокоить народ? Как прекратить те злодеяния, которые совершаются?»

Ответ самый простой: перестать делать то, что вы делаете.

Если бы никто не знал, что нужно делать для того, чтобы успокоить «народ» — весь народ (многие же очень хорошо знают, что нужнее всего для успокоения русского народа: нужно освобождение земли от собственности, как было нужно 50 лет тому назад освобождение от крепостного права), если бы никто и не знал, что нужно теперь для успокоения народа, то все-таки очевидно, что для успокоения народа наверное не нужно делать того, что только увеличивает его раздражение. А вы именно это только и делаете.

То, что вы делаете, вы делаете не для народа, а для себя, для того, чтобы удержать то, по заблуждению вашему считаемое вами выгодным, а в сущности самое жалкое и гадкое положение, которое вы занимаете. Так и не говорите, что то, что вы делаете, вы делаете для народа: это неправда. Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных, личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете и которое вам кажется благом.

Но сколько вы ни говорите о том, что всё, что вы делаете, вы делаете для блага народа, люди всё больше и больше понимают вас и всё больше и больше презирают вас, и на ваши меры подавления и пресечения всё больше и больше смотрят не так, как бы вы хотели: как на действия какого-то высшего собирательного лица, правительства, а как на

личные дурные дела отдельных недобрых себялюбцев.

IV

Вы говорите: «Начали не мы, а революционеры, а ужасные злодейства революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодейства), твердыми мерами правительства».

Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства ужасны.

Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того, что ужасны, еще так же глупы и так же бьют мимо цели, как и ваши дела. Но как ни ужасны и ни глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не достигают преступности и глупости дел, совершаемых вами.

Они делают совершенно то же, что и вы, и по тем же побудительным причинам. Они так же, как и вы, находятся под тем же (я бы сказал комическим, если бы последствия его не были так ужасны) заблуждением, что одни люди, составив себе план о том, какое, по их мнению, желательно и должно быть устройство общества, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь других людей. Одинаково заблуждение, одинаковы и средства достижения воображаемой цели. Средства эти – насилие всякого рода, доходящее до смертоубийства. Одинаково и оправдание в совершаемых злодеяниях. Оправдание в том, что дурное дело, совершаемое для блага многих, перестает быть безнравственным, и что потому можно, не нарушая нравственного закона, лгать, грабить, убивать, когда это ведет к осуществлению того предполагаемого благого состояния для многих, которое мы воображаем, что знаем, и можем предвидеть, и которое хотим устроить.

Вы, правительственные люди, называете дела революционеров злодействами и великими преступлениями, но они ничего не делали и не делают такого, чего бы вы не делали, и не делали в несравненно большей степени. Так что, употребляя те безнравственные средства, которые вы употребляете для достижения своих целей, вам – то уж никак нельзя упрекать революционеров. Они делают только то же самое, что и вы: вы держите шпионов, обманываете, распространяете ложь в печати, и они делают то же; вы отбираете собственность людей посредством всякого рода насилия и по-своему распоряжаетесь ею, и они делают то же самое; вы казните тех, кого считаете вредными, – они делают то же. Всё, что вы только можете привести в свое оправдание, они точно так же приведут в свое, не говоря уже о том, что вы делаете много такого дурного, чего они не делают: растрату народных богатств, приготовления к войнам и самые войны, покорение и угнетение чужих народностей и многое другое.

Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них тоже

предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой французской революции, а великих людей, образцов для подражания, мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше, чем у вас.

Так что, если есть разница между вами и ими, то только в том, что вы хотите, чтобы всё оставалось, как было и есть, а они хотят перемены. А думая, что нельзя всему всегда оставаться попрежнему, они были бы правее вас, если бы у них не было того же, взятого от вас, странного и губительного заблуждения в том, что одни люди могут знать ту форму жизни, которая свойственна в будущем всем людям, и что эту форму можно установить насильем. Во всем же остальном они делают только то самое, что вы делаете, и теми же самыми средствами. Они вполне ваши ученики, они, как говорится, все ваши капельки подобрали, они не только ваши ученики, они – ваше произведение, они ваши дети. Не будь вас – не было бы их, так что, когда вы силою хотите подавить их, вы делаете то, что делает человек, налегающий всею силою на дверь, отворяющуюся на него.

Если есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу. Смягчающие для них обстоятельства, во-первых, в том, что их злодеяния совершаются при условии большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск, опасность оправдывают многое в глазах увлекающейся молодежи. Во-вторых, в том, что они в огромном большинстве – совсем молодые люди, которым свойственно заблуждаться, вы же – большую часть люди зрелые, старые, которым свойственно разумное спокойствие и снисхождение к заблуждающимся. В-третьих, смягчающие обстоятельства в их пользу еще в том, что как ни гадки их убийства, они все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы. Четвертое смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что все они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение, считают, что цель оправдывает средства, и потому поступают совершенно последовательно, убивая одного или нескольких для воображаемого блага многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших палачей и до высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни в каком случае несовместимое с совершаемыми вами делами.

И вы-то, люди старые, руководители других людей, исповедующие христианство, вы говорите, как подравшиеся дети, когда их бранят за то, что они дерутся: «Не мы начали, а они», и лучше этого ничего не умеете, не можете сказать вы, люди, взявшие на себя роль правителей народа. И какие же вы люди? Люди, признающие богом того, кто самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата, который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегданнего прощения, сколько бы раз ни повторилось преступление, который велел ударившему в одну щеку подставлять другую, а не воздавать злом за зло, который так просто, так ясно показал рассказом о приговоренной к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других, вы – люди, признающие этого учителя богом, ничего другого не можете найти сказать в свое оправдание, кроме того, что «они начали, они убивают – давайте и мы будем убивать их».

Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-девочка выдала его.

Она сказала: «батя на чердаке». Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для «натуры», для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго выпытывал художника, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего.

Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, — дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно.

И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, — людей, осуждающих других, а не себя, и высоко носящих голову.

VI

Знаю я, что все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди. Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством.

А не могу и не хочу, во-первых, потому, что людям этим, не видящим всей своей преступности, необходимо обличение, необходимо и для них самих, и для той толпы людей, которая под влиянием внешнего почета и восхваления этих людей одобряет их ужасные дела и даже старается подражать им. Во-вторых, не могу и не хочу больше бороться потому, что (откровенно признаюсь в этом) надеюсь, что мое обличение этих людей вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений.

Ведь всё, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то всё это делается и для меня, живущего в России. Для меня, стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого – пользования той землей, на которой он родился; для меня эти полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цынги в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга.

И как ни странно утверждение о том, что всё это делается для меня и что я участник этих страшных дел, я все-таки не могу не чувствовать, что есть несомненная зависимость между моей просторной комнатой, моим обедом, моей одеждой, моим досугом и теми страшными преступлениями, которые совершаются для устранения тех, кто желал бы отнять у меня то, чем я пользуюсь. Хотя я и знаю, что все те бездомные, озлобленные, развращенные люди, которые бы отняли у меня то, чем я пользуюсь, если бы не было угроз правительства, произведены этим самым правительством, я все-таки не могу не чувствовать, что сейчас мое спокойствие действительно обусловлено всеми теми ужасами, которые совершаются теперь правительством.

А сознавая это, я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения.

Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю.

VII

И вот для того, чтобы достигнуть одной из этих двух целей, обращаюсь ко всем участникам этих страшных дел, обращаюсь ко всем, начиная с надевающих на людей–братьев, на женщин, на детей колпаки и петли, от тюремных смотрителей и до вас, главных распорядителей и разрешителей этих ужасных преступлений.

Люди–братья! Опомнитесь, одумайтесь, поймите, что вы делаете. Вспомните, кто вы.

Ведь вы прежде, чем быть палачами, генералами, прокурорами, судьями, премьерями, царями, прежде всего вы люди. Нынче выглянули на свет божий, завтра вас не будет. (Вам–то, палачам всякого разряда, вызывавшим и вызывающим к себе особенную ненависть, вам–то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшим на этот один короткий миг на свет божий – ведь смерть, если вас и не убьют, всегда у всех нас за плечами, – неужели вам не видно в ваши светлые минуты, что ваше призвание в жизни не может быть в том, чтобы мучить, убивать людей, самим дрожать от страха быть убитыми, и лгать перед собою, перед людьми и перед богом, уверяя себя и людей, что, принимая участие в этих делах, вы делаете важное, великое дело для блага миллионов? Неужели вы сами не знаете, – когда не опьянены обстановкой, лестью и привычными софизмами, – что всё это – слова, придуманные только для того, чтобы, делая самые дурные дела, можно было бы считать себя хорошим человеком? Вы не можете не знать того, что у вас, так же как у каждого из нас, есть только одно настоящее дело, включающее в себя все остальные дела, – то, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в согласии с той волей, которая послала нас в этот мир, и в согласии с ней уйти из него. Воля же эта хочет только одного: любви людей к людям.

Вы же, что вы делаете? На что кладете свои душевные силы? Кого любите? Кто вас любит? Ваша жена? Ваш ребенок? Но ведь это не любовь. Любовь жены, детей – это не человеческая любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь – это любовь человека к человеку, ко всякому человеку, как к сыну божию и потому брату.

Кого же вы так любите? Никого. А кто вас любит? Никто.

Вас боятся, как боятся ката-палача или дикого зверя. Вам льстят, потому что в душе презирают вас и ненавидят – и как ненавидят! И вы это знаете и боитесь людей.

Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете. Перестаньте – не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас.

31 мая 1908 г.

Ясная Поляна.

ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

** № 1 (рук. № 1).

Беру в руки газету, в заголовке: 7 смертных казней – 2 там, 42 там, 1 там, 8 смертных приговоров. То же было вчера, то же 3-го дня, то же каждый день, уж месяцы, чуть не годы. И это делается в той России, в которой не было смертной казни, отсутствием которой как гордился я когда-то перед европейцами. И тут неперестающие казни, казни, казни. То же и нынче. Но нынче это что-то ужасное, для меня, по крайней мере, такое, что я не могу не то что молчать, не могу жить, как я жил, в общении с теми ужасными существами, которые делают эти дела. Нынче в газете стоят короткие слова: исполнен в Херсоне смертный приговор через повешение над 20 крестьянами, т. е. 20, двадцать человек из тех самых, трудами которых мы живем, тех самых, которых мы развращаем³ всеми силами, начиная с яда водки, которой мы спаиваем их, и кончая солдатством, нашими скверными установлениями, называемыми нами законами, и, главное, нашей ужасной ложью той веры, в которую мы не верим, но которую стараемся обманывать их, 20 человек из этих самых людей, тех единственных в России, на простоте, доброте, трудолюбии которых держится русская жизнь, этих людей, мужей, отцов, сыновей, таких же, как они, мы одеваем в саваны, надеваем на них колпаки и под охраной из них же

взятых обманутых солдат мы взводим на возвышение под виселицу, надеваем по очереди на них петли, выталкиваем из-под ног скамейки, и они один за другим затягивают своей тяжестью на шее петли, задыхаются, корчатся и, за три минуты полные жизни, данной им богом, застывают в мертвой неподвижности, и доктор ходит и щупает им ноги – холодны ли они. И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над двадцатью⁴ обманутыми мужиками, кормильцами нашими. А те, кто главные виновники и попустители этих ужасных преступлений всех законов божеских и человеческих – г-н Столыпин говорит бесчеловечные, глупые, чтоб не сказать отвратительные, спокойные речи, старательно придуманные глупости о Финляндии, и [в] думе господ Гучковы и Милюковы вызывают друг друга на дуэль, и самый глупый и бесчеловечный из всех г-н Романов, называемый Николай второй, смотрит казачью сотню и за что-то благодарит.⁵

Ведь это ужасно. Нельзя и нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не хочу и не буду. Затем и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее, чтобы или кончились эти ужасные нечеловеческие дела, или кончил бы я и или посадили меня в каменный мешок, где бы я чувствовал, что не могу ничего сделать, или лучше всего (так хорошо, что я не смею и мечтать о таком счастье) надели бы на меня на 21-го или 21000 первого саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле петлю.

7 Нельзя, нельзя так жить. Ведь все эти творимые ужасы ведь оправдание их – это я с своей просторной комнатой, с своим богатым обедом, с своей лошадей. Ведь мне говорят, что всё это делается, между прочим, и для меня, для того, чтобы я мог жить спокойно и со всеми удобствами жизни. Для меня, для обеспечения моей жизни все эти высылки людей из места в место, для меня эти сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни тысяч несчастных, сидящих, как сельди в бочонке, и мрущих от тифа в недостающих для всех крепостях и тюрьмах. Для меня эти полицейские шпионы, доносы, подкупы, для меня эти убивающие городские, получающие награды за убийства, для меня закапывание десятков, сотен расстреливаемых. Для меня эти ужасные виселицы и работа трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей – палачей.

Не хочу, не могу я пользоваться всем этим. А между [тем] я знаю, не могу не знать, что правда то, что моя спокойная жизнь достаточного человека, моя и моих семейных обеспечена всем этим. Не хочу я этого, не могу переносить больше. Как мне ни больно чувствовать свою связь, связь своей спокойной жизни со всеми этими ужасами лжей, подкупов, насилий, жестокости, убийств, а она есть, несомненно есть; большее всего мне, непереносимее, это не эти мерзкие, бесчеловечные дела, а то развращение народа, которое, как пожар в сухой соломе, распространяется в народе вследствие того, что все эти мерзкие преступления правительства, превышающие в сотни раз всё то, что делалось и делается и простыми ворами, грабителями и всеми революционерами вместе, совершаются под видом закона, чего-то нужного, хорошего, необходимого. Ужасно это развращение, поддерживаемое всем блеском внешности: царь, сенат, синод,

солдатство, дума, церковь.⁸ И развращение это ужасно. В Орле искали палача. Нашелся вольный человек и согласился исполнить дело за 50 р. Во время совершения ужасного дела, уже надев на убиваемого мешок, вольный палач остановился и, подойдя к начальнику, сказал: не могу, прибавьте четвертной билет. Ему прибавили. Он исполнил. Мало этого. Следующая казнь предстояла пятерым. Накануне казни злодею, называемому председателем, доложили, что его спрашивает человек по важному тайному делу. Злодей вышел, неизвестный человек сказал: «С вас, ваше превосходительство, тот жила три четвертных взял, сказывали; слышно, нынче пятерых, я по 15 цел[ковых] – и сделаю, как должно. Прикажете оставить за мной». Не знаю, принято или нет предложение. Нельзя более молчать. Я по крайней [мере] не могу более. –

Знаю я, что все люди – люди, все мы слабы, все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Так я думал, чувствовал и долго боролся с тем чувством негодования и отвращения, которое возбуждали и возбуждают во мне все эти председатели военных судов, Щегловитые, Столыпины и Николаи. Но я не хочу больше бороться с этим чувством. Не хочу, во 1–ых, потому, что дела этих людей дошли теперь до того предела, при котором не осуждение, а обличение людей, довольных своей порочностью, гадостью, окруженных людьми, восхваляющими их за их гадость, необходимо и для них самих и для той толпы людей, которая не разбирая подчиняется общему течению. Не хочу бороться, во 2–ых (откровенно признаюсь в этом), потому, что надеюсь, что мое обличение их вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу, или вообще из круга живых людей. Жить так и спокойно смотреть на это для меня стало совершенно невозможно.

Обращаюсь ко всем участникам непрестанно совершающихся под ложным названием закона преступлений, ко всем вам, начиная от взводящих на виселицу и надевающих колпаки и петли на людей–братьев, на женщин, на детей, и до вас, двух главных скрытных палачей, своим попустительством участвующих во всех этих преступлениях: Петру Столыпину и Николаю Романову.

Опомнитесь, одумайтесь. Вспомните, кто вы, и поймите, что вы делаете.

Ведь вы, прежде чем быть палачами, премьерами, царями, прежде всего люди и братья людей, нынче выглянули на свет божий, завтра вас не будет. (Вам–то, вызвавшим и вызывающим к себе, как палачи, так и вы, особенную ненависть, вам–то особенно надо помнить это.) Неужели вам, выглянувшем на этот один короткий миг на свет божий – ведь смерть, если вас и не убьют, вот она всегда у всех нас за плечами, – неужели ваше призвание в жизни может быть только в том, чтобы убивать, мучать людей, самим дрожать от страха убийства и лгать перед собой, перед людьми и перед богом, что вы делаете всё это по обязанности для какой–то выдуманной несуществующей цели, для выдуманной именно для вас, именно для того, чтобы можно было, будучи злодеем, считать себя подвижником выдуманной России. Ведь вы сами знаете, когда не опьянены своей обстановкой, что призвание ваше и всех людей в одном: в том, чтобы прожить этот короткий промежуток данного нам времени в

согласии с самим собою, с богом и в любви от людей и к людям. А что же вы? Что же ваша жизнь? Кого вы любите? Кто вас любит? Ваша жена? ваш ребенок? И то едва ли? Да и это не любовь. Так, и сильнее, любят животные. Человеческая любовь – это любовь к людям и от людей. А вам льстят те, которые в душе презирают вас и вас боятся и ненавидят, и как ненавидят!

Мой приятель живописец пишет картину: смертную казнь, и ему нужно было лицо палача. Он узнал, что в Москве дело это исполняет сторож, дворник в большом сарае. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные сидели за чайным столом нарядные, но хозяина не было: он спрятался, увидав незнакомца. Жена сказала, что его нет дома, но ребенок–девочка выдала его.

– Нет, он на чердаке.

Художник решил дождаться. Когда этот несчастный, развращенный человек решил прийти, он долго пытался художника, зачем ему нужен, почему именно он (художник сказал, что он, встретив его, нашел, что лицо его подходит к задуманной им картине), и, испуганно оглядываясь, отказался от всего.

9 Палач этот тем лучше вас, – вы, председатели судов, министры и вы, два главные, Столыпин и Романов, – тем лучше, что он знает свое преступление, в которое он был вовлечен и своей бедностью и невежеством. А вы, вы, чем оправдываетесь вы перед людьми теперешними, ненавидящими и презирающими вас теперь, и перед будущими поколениями, которые навсегда с отвращением будут поминать ваши имена. Еще те разные председатели, прокуроры счастливы тем, что в будущем их забудут, а вас не забудут. Но понимаю, что можно еще пренебречь мнением людей, но бог, совесть? Неужели в вас нет ее?

Палач этот, да и всякий палач (все палачи, сознавая свой грех, боятся людей и прячутся), палач этот много, много лучше вас тем, что он сознает свой грех; вы же верите тем лживым людям, которые из своих личных целей восхваляют вас, но восхваляют только [до] тех пор, пока вы нужны им. Подумайте, подумайте о том, что вы делаете.

Вы говорите, что вы боретесь с революцией, что вы хотите водворить спокойствие, порядок, но ведь если вы не дикие звери, а хоть немного добрые и разумные люди, вы не можете верить тому, что вы говорите. Как! вы водворите спокойствие тем, что разрушите в людях всякие последние остатки христианства и нравственности, совершая – вы, представители власти, руководители, наставники – все самые величайшие преступления: ложь, предательство, всякого рода мучительства и последнее, вечно противное всякому человеку, не потерявшему последние остатки нравственности – не убийство, а убийства, бесконечные убийства, одеваемые в какие-то такие лживые одежды, при которых убийства переставали бы быть преступлениями. <Вы> говорите, что это единственное средство погашения революции, успокоения народа. Разве вы можете верить в то, что, не удовлетворяя требованиям, определенным требованиям всего русского народа и признанным уже большинством людей требованиям самой первобытной справедливости, требованиям уничтожения земельной собственности, не

удовлетворяя даже и другим требованиям молодежи, напротив того, раздражая народ и молодежь, вы можете успокоить страну убийствами, тюрьмами, ссылками? Вы не можете не знать, что, поступая так, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя ее внутрь. Ведь это слишком ясно. Этого не могут не видеть дети.

11 Вы говорите, что революционеры начали, что злодейства революционеров могут быть подавлены только такими же мерами. Но как ни ужасны дела революционеров: все эти бомбы, и Плева, и Сергей Александрович, и те несчастные, неумышленно убитые революционерами, дела их и по количеству убийств и по мотивам их едва ли не в сотни раз меньше и числом и, главное, менее нравственно дурны, чем ваши злодейства. В большинстве случаев в делах революционеров есть, хоть и часто ребяческое, необдуманное, желание служения народу и самопожертвование, главное же, есть риск, опасность, оправдывающая в их глазах, глазах увлекающейся молодежи, оправдывающая их злодеяния. Не то у вас: вы, начиная с палачей и до Петра Столыпина и Николая Романова, руководимы только самыми подлыми чувствами: властолюбия, тщеславия, корысти, ненависти, мести.

Сначала я думал про Петра Столыпина, когда имел наивность¹² предлагать ему выступление с проектом освобождения земли от собственности, что он только ограничен и запутан своим положением, думал и про Николая Романова, что он¹³ своим рождением, воспитанием, средой доведен до той тупости, которую он проявлял и проявляет в своих поступках, но чем дольше продолжается теперешнее положение, тем больше я убеждаюсь, что эти два человека, виновники совершающихся злодейств и развращения народа, сознательно делают то, что делают, и что им именно, находящимся в той среде, где они, вследствие своей возможности удовлетворять желаниям окружающих их людей, живут в постоянной атмосфере лести и лжи, что эти два человека больше каких-нибудь других нуждаются в обличении и напоминании.

Да, вы все, от первого палача до последнего из них, Николая II, опомнитесь, подумайте о себе, о своей душе. Поймите, что всё то, что побуждает вас делать¹⁴ то, что вы делаете, один людской, жалкий людской обман, а что истина в вас самих, в том голосе, который хоть изредка, но наверное говорит в вас и зовет вас к одному тому, что нужно человеку в этом мире, к тому, что несовместимо с злобой, местью, причинением страданий, не говорю уже, с казнями, к одной любви, к любви и к любви к людям. Только одно это нужно, только это¹⁵ даст вам благо в этой жизни и в том скоро предстоящем каждому из нас переходе¹⁶ из этой жизни в то состояние, которое мы не знаем.

Помоги вам в этом, всем вам, как вам, несчастным, заблудшим, преимущественно юношам, которые думают насилиями и убийствами избавить себя и народ от насилий и убийств, так и вам всем несчастным палачам от того сторожа в Москве и заместителя по 15 р. с головы до Столыпина и Ник. Романова, помоги вам всем тот бог, который живет во всех вас, опомнитесь прежде смерти и скинуть с себя всё то, что мешает вам вкусить истинное, открытое для всех нас в любви благо жизни.

Лев Толстой.

14 мая 1908.

* № 2 (рук. № 2).

И вот двадцать,17 двадцать человек из этих самых наших кормильцев, тех единственных в России, на доброте, трудолюбии, простоте которых еще держится русская жизнь, этих людей, мужей, отцов, сыновей, схватили, заковали в цепи, потом под охраной из них же взятых обманутых солдат притащили к помосту виселицы; должно быть, в насмешку над ними и над богом привели туда же в парчовой ризе длинноволосого с крестом, дерзко под виселицей призывающего имя Христа; потом одели этих людей в саваны, надели на них колпаки и ввели на возвышение. Начальство в мундирах, генералы и прокуроры, с значительным видом людей, делающих важное и полезное дело, смотрели на это, своим присутствием оправдывая совершаемое. Потом на шею этих людей захлестывали по очереди петли, вытолкнули из-под их ног скамейку – и они один за другим повисали, затягивая своей тяжестью на шее петли. И 20 человек, за три минуты полные жизни, данной им богом, застыли в мертвой неподвижности. Служащий врач ходил под повешенными и щупал их ноги – холодны ли они, и когда всё начальство нашло, что всё совершилось, как должно, оно всё спокойно удалилось. Мертвые тела сняли и зарыли. И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над двадцатью18 обманутыми мужиками. И в это время, как это делается, те несчастные, чтобы не сказать мерзавцы, главные виновники и попустители этих ужасных преступлений всех законов божеских и человеческих – эти люди говорят – один в Думе с полной уверенностью в важности совершаемого им дела высказывает какие-то никому не нужные, но все-таки лживые рассуждения о том, как русские могут и должны делать неприятности финляндцам, другой же на смотре каких-нибудь казаков еще с большей важностью высказывает казакам свою высочайшую благодарность за то, что они хорошо верхом ездят.

* № 3 (рук. № 3).

Перед виселицами стоят генералы и прокуроры в мундирах и с крестами на груди, с значительными видами людей, исполняющих хотя и трудную, но священную обязанность. Вокруг них, охраняя порядок при совершении этого ужасного дела, стоят такие же точно, как те, которых будут вешать, мужички, лишь только одетые теперь в хорошие, чистые солдатские с погонами мундиры, с перекинутыми через плечи свернутыми шинелями и с ружьями в руках. Среди всех их, должно быть в насмешку

над богом и Христом, стоит также длинноволосый и в парчовой ризе так называемый священник. И «священник» этот тут же под виселицей, обращаясь к убиваемым, держа перед собой крест, призывает для чего-то имя Христа. Потом одевают убиваемых в саваны, надевают на них колпаки и взводят их на помост. Несчастный, измученный, развращенный до последнего предела такой же мужик, как и те, кого он убивает, надевает по очереди на шеи этих людей петли, потом выталкивает из-под ног скамейку, и они, один за другим, затягивая своей тяжестью на шее веревки, повисают в пустом месте перед помостом. И двадцать человек, за три минуты полные жизни, данной им богом, застывают в мертвой неподвижности. Служащий врач ходит под виселицами и шупает им ноги. И когда он находит, что ноги достаточно холодны и дело совершено, как должно, он докладывает начальству, и все эти люди – люди, называющие себя христианами, удаляются к своим обычным занятиям и удовольствиям с сознанием добросовестно исполненного долга. Застывшие тела снимают и зарывают опять те же из разных губерний мужички, одетые в мундиры. Ведь это ужасно. И это делается не над одним, не нечаянно, не над каким-нибудь извергом, а над двадцатью обманутыми мужиками. И в то время, как это делается, те несчастные, главные виновники и попустители этих преступлений всех законов божеских и человеческих, не испытывая и тени сознания своей преступности, с полным спокойствием и самоуверенностью говорят – кто разные пошлые, всем известные неправды и глупости о том, как русским надо непременно мешать финляндцам, жить так, как хотят этого финляндцы, а заставлять их жить, так, как хотят несколько человек русских, кто о том, что он глубоко тронут преданностью каких-нибудь казаков или купцов, и как он изъявляет им за это свою высочайшую благодарность. Ведь это ужасно.

№ 4 (рук. № 3).

V

Вы говорите еще: начали не мы, а революционеры, и ужасные злодеяния революционеров могут быть подавлены только твердыми (вы так называете ваши злодеяния), твердыми мерами правительства. Но как ни ужасны дела революционеров, все эти бомбы, и Плеве, и Сергей Александрович, и все эти отвратительные убийства при грабежах денег – все дела революционеров и по количеству убийств и по мотивам едва ли не в сотни раз меньше и числом и, главное, – не так нравственно отвратительны, как ваши злодеяния. Побудительной причиной их поступков в огромном большинстве случаев есть хоть и ребяческое, необдуманное, тщеславное, но все-таки справедливое негодование против угнетения народа, есть готовность жертвы, есть риск, опасность, оправдывающие многое в глазах молодежи. Не то в ваших делах. Вы, начиная с низших палачей и до высших распорядителей их, вы все руководимы только самыми подлыми чувствами: властолюбия, тщеславия, корысти, ненависти, мести. Говорят: революционеры начали. *Que Messieurs les assassins commencent par nous donner l'exemple, 19*

как говорил шутник француз. И явно, что это самое и думают все виновники тех страшных дел: революционеры убивают, и мы будем убивать их. И это говорят – кто же? – люди, признающие богом того, кто, не говоря уже об установлении главного закона жизни христиан – братства и любви друг к другу, самым определенным образом запретил не только всякое убийство, но всякий гнев на брата, который признал всех людей сынами бога, который запретил не только суд и наказание, но осуждение брата, который в самых определенных выражениях отменил всякое наказание, признал неизбежность всегдашнего прощения, сколько бы раз ни повторилось преступление, который так просто, ясно показал рассказом о приговоренной к побитию камнями женщине невозможность осуждения и наказания одними людьми других. Так не говорите же, по крайней мере, о Христе и его законе, который будто оправдывает ваши ужасные преступления. Кроме постыдного греха лжи, который вы этим совершаете, вы делаете еще ужасное преступление, извращая это учение и этим извращением лишая народ того блага, которое оно дает ему. А это делаете вы все: и те редкие из вас, которые веруют как-то в это извращенное учение, и те, которые притворяются, что веруют, и те, которые ни во что не веруют и ничем не руководствуются, кроме своих телесных похотей.

Комментарии В. С. Спиридонова

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

После революции 1905–1906 гг. страна изнемогала под гнетом реакции. Повсюду производились аресты и ссылки и совершались казни. Под 10 марта 1908 г. Толстой занес в свой Дневник: «Читаю газету «Русь». Ужасаюсь на казни» (т. 56, стр. 110). 27 марта того же года в беседе с одной монахиней, приехавшей в Ясную Поляну, Толстой говорил: «Каждый день десять казней!.. И это всё сделала церковь!.. А Христос велел не противиться злу!..» Монахиня защищала церковь и доказывала, что «зверские преступления» революционеров нельзя оставлять безнаказанными. В ответ на это Толстой уже не говорил, а кричал обессилевшим голосом: «Ну, так, так и сказать, что Христос говорил глупости, а мы умнее его.... Это ужасно!» Н. Н. Гусев, записавший эту сцену, заметил, что он «никогда еще не видел Льва Николаевича таким взволнованным».20

Особенно сильно потрясло Толстого сообщение о повешении двадцати крестьян, которое он прочел 10 мая в «Русских ведомостях» (1908, № 107 от 9 мая), а затем 11 мая в «Руси» (1908, № 127 от 9 мая). В этих газетах было напечатано: «Херсон. 8 [мая]. Сегодня на стрельбищном поле казнены через повешение двадцать крестьян, осужденных военно-окружным судом за разбойное нападение на усадьбу землевладельца Лубенко в Елисаветградском уезде». Под влиянием этого сообщения Толстой продиктовал в фонограф:

«Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней. Нынче 5, завтра 7, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжают разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть...»²¹

Как сообщает Н. Н. Гусев, Толстой от волнения не мог дальше говорить; а сам Толстой 12 мая записал в Дневнике: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20 повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать» (т. 56, стр. 117).

На следующий день Толстой набросал в резко публицистическом тоне статью, впоследствии названную «Не могу молчать» (см. вариант № 1).

В Дневнике 14 мая он отметил: «Вчера, 13-го, написал обращение, обличение – не знаю что – о казнях... Кажется, то, что нужно» (т. 56, стр. 118). В этом первом наброске фигурируют имена многих деятелей того времени: Милюкова, Гучкова, Щегловитова, Столыпина, Николая Романова и др. Со всей силой своего негодования и возмущения Толстой обрушился на двух главных виновников совершавшихся тогда злодейств – «Петра Столыпина и Николая Романова».

Первый набросок, не имевший еще заглавия, был только началом работы.

В результате длительной переработки Толстой значительно расширил содержание первого наброска статьи и существенно переработал его в композиционном отношении. Имена политических деятелей, фигурирующих в нем, он опустил и все резкие выражения по их адресу вычеркнул или же значительно смягчил.

Работа над статьей продолжалась с 13 мая по 15 июня 1908 г. В Дневнике и Записных книжках за это время Толстой отмечал отдельные этапы своей работы и вносил ряд мыслей, которые потом развивал в статье (см. записи в Дневнике 14, 15, 21 мая; в Записной книжке 17 и 25 мая, т. 56, стр. 127–128, 130, 336–339).

29 мая Толстой записал в Дневнике: «За это время кончил 0 смертных казнях» (т. 56, стр. 130–131). Предположительно можно сказать, что этот этап работы соответствует работе над рук. № 13 (см. описание), ошибочно датированной Толстым «18 мая». Рукопись эта является первой полной собранной редакцией после рук. № 5, подписанной «22 мая». Однако Толстой в последующие дни стал вновь исправлять рукопись и 3 июня вновь записал в Дневнике: «Кончил «Не могу молчать» и отослал Черткову» (т. 56, стр. 132). 1 июня 1908 г. был отослан В. Г. Черткову дубликат рук. № 15, датированной 31 мая 1908 г. (см. описание). В сопроводительном письме Толстой писал: «Это [смертные казни] так мучает меня, что я не могу быть спокоен, пока не выскажу всех тех чувств, которые во мне это вызывает» (см. т. 89).

Между тем и отослав статью В. Г. Черткову для издания, Толстой не прекратил работы над ней. В Записной книжке 6 и 15 июня он записал ряд мыслей к статье (см. т. 56, стр. 343 и 345–346), которые потом изложил на отдельных листах и в виде двух вставок включил в первую главу статьи.

9 июня Толстой получил от В. Г. Черткова письмо, в котором Чертков предлагал внести в текст ряд изменений (см. описание рук. № 16). Толстой в тот же день ответил телеграммой: «Изменения вполне одобряю, издавайте скорей» (см. т. 89).

Статья в отрывках впервые была напечатана 4 июля 1908 г. в газетах: «Русские ведомости», «Слово», «Речь», «Современное слово» и др. Все эти газеты, напечатавшие отрывки из «Не могу молчать», были оштрафованы. По словам «Русского слова», сева­стопольский издатель расклеил по городу номер своей газеты с отрывками из «Не могу молчать». Он был арестован. В период с 10 по 17 июля 1908 г. статья вышла отдельной брошюрой в Петербурге в переводе на латышский язык (см. «Книжная летопись» 1908, II, № 1322). В августе 1908 г. статья полностью была напечатана в нелегальной типографии в Туле; в том же году она была издана И. П. Ладыжниковым с таким предисловием: «Печатаемое нами новое произведение Льва Николаевича Толстого опубликовано одновременно в газетах почти всех цивилизованных стран 15-го июля 1908 г. и произвело глубокое впечатление, несмотря на отрицательное отношение автора к русскому освободительному движению. Как интересный исторический и характерный для великого писателя документ, мы предлагаем это произведение русскому читателю».

В России статья распространялась в гектографированных и рукописных списках и в подпольных изданиях. Толстой в связи с опубликованием статьи получил много писем как с выражением сочувствия, так и «ругательных». В архиве Толстого в ГМТ хранится двадцать одно «ругательное» и шестьдесят сочувственных писем. (Подробнее об этом см. в примечаниях 363 и 368 к Дневнику Толстого 1908 г., т. 56, стр. 503–507.)

Первый набросок статьи «Не могу молчать» впервые был напечатан под редакцией В. И. Срезневского, в издании Толстовского музея в Петрограде в 1917 году.

В настоящем издании статья печатается по рукописи № 17. Опечатки и ошибки переписчиков исправляются по автографам.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 9 лл. почтового формата и 2 отрезка. Первая черновая редакция статьи. Заглавия нет. Начало: «Веру в руки газету, в заголовке». Конец: «открытое для всех нас в любви благо жизни». Публикуется в вариантах под № 1.

2. Машинописная копия рук. № 1, переработанная Толстым. 14 лл. 4°, 1 л. почтового формата и 2 отрезка (в том числе 1 л. почтового формата и 1 отрезок – автографы–вставки). Начало: «Такого-то числа смертных приговоров семь». Конец: «что вам неприятно». На обложке помета Н.

Н. Гусева: «0 смертной казни» и дата: «15/V 08».

Извлекается вариант № 2.

3. Машинописная копия рук. № 2, переработанная Толстым. 18 лл. 4° и 13 отрезков. В конце рукописи подпись и дата Толстого: «16 мая 1908. Я. П.» Начало: «<Такого-то числа семь смертных казней>». Конец: «<что вам неприятно>». Копия подверглась крупным переделкам от начала до конца.

Извлекаются варианты №№ 3 и 4.

4. Машинописная копия рук. № 3, переработанная Толстым. 17 лл. 4° и 5 отрезков. Начало: «Восемь смертных приговоров». Конец: «тот знает свое преступ[ление]». На обложке дата Н. Н. Гусева: «19/V-08».

5. Машинописная копия рук. № 4, переработанная Толстым. 12 лл. 4°, 3 вставных листа почтовой бумаги среднего формата (автографы) и 5 отрезков. Начало: «не верю глазам». Конец: «я не перестану обличать вас». Исправления Толстого проходят через всю рукопись. Наиболее крупные переделки и дополнения внесены в I и V главы. В конце рукописи подпись и дата Толстого: «22 мая 1908 г.».

6. Машинописная копия рук. № 5, переработанная и дополненная Толстым. 10 лл. 4°, 7 лл. почтового формата и 7 отрезков разного размера. Листы почтовой бумаги и один отрезок – автографы-вставки. Начало: «<Написано> В газетах 20 мая». Конец: «Вот это-то ужасно».

7. Машинописная копия части рук. № 6 с поправками Толстого, 10 лл. 4° и 1 отрезок. Начало: «сколько нужно расправленную петлю». Конец: «не меньше, чем у вас».

8. Неполная машинописная копия рук. № 7 с поправками Толстого. 3 лл. 4°. Начало: «сколько нужно расправленную петлю». Конец: «Ведь это ужасно!»

9. Машинописная копия части рук. № 8 с поправками Толстого. 3 лл. 4° и 1 отрезок. Начало: «Кончили говорить». Конец: «Ведь это ужасно».

10. Неполная машинописная копия рук. № 9 с поправками Толстого. 3 лл. 4°. Начало: «[тю]рьмы», заковали в ножные кандалы». Конец: «Ведь это ужасно».

11. Неполная машинописная копия рук. № 10 с поправками Толстого. 1 л. 4° и 1 отрезок. Начало: «прочтена, священник». Конец: «все двенадцать человек несомненно мертвы».

12. Машинописная копия небольшого отрывка из рук. № 11. 1 отрезок. Начало: «<[останавли]вается на затягивающей шею веревке>». Конец: «Врач обходит тела».

13. Сводная рукопись, составленная частью из копий отдельных частей предыдущих рукописей, частью из листов и отрезков, переложённых в нее из этих рукописей. 27 лл. 4° и 5 отрезков, из которых два

отрезка наклеены на чистые лл. 4°. Заглавия нет. В конце рукописи поставлена Толстым дата: «18 мая 1908 г.». Дата ошибочна (может быть: 28 мая?), так как рук. № 5 датирована Толстым «22 мая 1908 г.»; кроме того, рук. № 6 Толстой начал: «В газетах 20 мая появилось» и т. д. Следовательно, данная рукопись исправлялась Толстым во всяком случае после 22 мая. Начало: «<Во>Семь смертных приговоров». Конец: «я не перестану обличать вас».

14. Машинописная копия части рукописи № 13 с поправками Толстого. 2 лл. тонкой бумаги стандартного формата и автографный отрезок писчей бумаги с наклеенным на него листком и машинописным текстом из статьи «Закон насилия и закон любви». Начало: «которые развращали и развращают их». Конец: «делаю самыми естественными, свойственными человеку». На обложке дата Н. Н. Гусева: «6/VI 08».

15. Машинописная копия рук. № 13, первоначально занимавшая 21 лл. тонкой бумаги стандартного формата. Н.Н. Гусев внес в эту копию поправки и две вставки (на 2 лл. 4°) из предыдущей рукописи (№ 14). Начало: «Семь смертных приговоров». Конец: «и обличать вас». В конце рукописи помета: «31 мая 1908 г. Ясная Поляна». Очевидно, в таком виде рукопись статьи была послана В. Г. Черткову в Петербург. В. Г. Чертков пометил в ней красными чернилами ряд новых абзацев, исправил пунктуацию и внес значительное число мелких исправлений, вставок и сокращений. На полях двух листов, к которым относятся перенесенные сюда вставки, из рукописи № 14, В. Г. Чертков пометил красным карандашом: «Заменить». Все эти изменения, одобренные Толстым, Н. Н. Гусев перенес из 1-й во 2-ю копию (см. описание рукописи № 16). Надо полагать, что около этого времени в эту же копию были перенесены поправки Толстого из 2-й копии статьи (см. описание рук. № 16).

16. Дубликат рук. № 15. Первоначально занимала 21 лл. тонкой бумаги стандартного формата. Три вставки, внесенные в рук. № 15, вместе с двумя листами, на которых В. Г. Чертков пометил: «заменить», в настоящей копии были переписаны на машинке. В полном виде рукопись содержит 23 лл. Начало: «Семь смертных приговоров». Конец: «обличать вас». Толстой сделал в этой копии довольно большое число мелких поправок, сокращений и вставок, которые были перенесены в рук. № 15. Поправки же В. Г. Черткова, внесенные в рук. № 15, Н. Н. Гусев перенес в настоящую копию, пометив на полях 1-го листа: «Сделанные моей рукой и отмеченные на полях знаком х поправки были сделаны по указаниям В. Г. Черткова. Н. Гусев». В конце копии подпись Толстого.

Поправки В. Г. Черткова, внесенные в текст Толстого, следующие:

Текст до переделки В. Г. Черткова:

Текст после переделки В. Г. Черткова:

Стр. 84, строки 23–24.

Живые за минуту еще перед этим люди превращаются
За минуту еще перед этим живые люди превращаются.

Стр. 86, строка 39.

И, исправив свои дела, оставил это побочное занятие и теперь ведет
и теперь ведет

Стр. 88, строка 11.

чтобы водворить спокойствие, порядок, но ведь вы не можете верить
тому, что вы говорите

чтобы водворить спокойствие, порядок.

Стр. 88, строки 25–26.

но ведь вы не можете не знать, что это неправда. Не можете же вы
верить в то, что, не удовлетворяя требованиям

но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя
требованиям

Стр. 88, строка 31.

вы можете успокоить

вы не можете успокоить

Стр. 89, строки 2–3.

Ведь вы не можете не видеть того, что причина совершающегося никак

не в материальных событиях, а что всё дело

Причина совершающегося никак не в материальных событиях, а всё дело

Стр. 89, строка 6.

Ведь вы не можете не видеть того, что общественное раздражение

Общественное раздражение

Стр. 89, строка 9.

Не можете не видеть того, что общественное раздражение

Общественное раздражение

Стр. 89, строка 15.

Не можете вы не понимать того, что сила событий

Сила событий

Стр. 89, строка 35.

То все-таки все и вы то же наверное знаете, что

то все-таки очевидно, что

Стр. 89, строка 38.

Так что то, что вы говорите о вашем желании успокоения народа,
очевидно, неправда. То, что вы делаете

То, что вы делаете

Стр. 90, строка 32.

Имеют право и могут устраивать.

имеют право и возможность устраивать.

Стр. 90, строка 38.

И потому можно

и что потому можно

Стр. 91, строка 2.

Того благого состояния

того предполагаемого благого состояния

Стр. 91, строки 29–30.

И в том, что они думают, что нельзя, чтобы всё всегда оставалось попрежнему.

А думая, что нельзя всему всегда оставаться попрежнему

Стр. 92, строка 26.

не умеют, не могут сказать люди,

не умеете, не можете сказать вы, люди,

Стр. 92, строка 27.

И какие же люди?

И какие же вы люди?

Стр. 92, строка 38.

люди, признающие

вы – люди, признающие

Стр. 93, строка 33.

так же боитесь людей, как и палач, и боитесь

так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь

Стр. 93, строка 35.

прокурор боится

прокурор опасается

Стр. 94, строка 8.

Так я думал, чувствовал и долго боролся

Я долго боролся

Стр. 94, строка 21.

участником тех преступлений, которые совершаются вокруг меня
участником совершаемых вокруг меня преступлений

Стр. 94, строки 22–23.

делается для общего блага, для обеспечения
делается во имя общего блага, во имя обеспечения

Стр. 96, строки 3–5.

(Вам–то, вызвавшим и вызывающим к себе как палачи, так и вы,
особенную ненависть

(Вам–то, палачам всякого разряда, – вызвавшим и вызывающим к себе
особенную ненависть

Стр. 96, строка 8.

неужели вы не видите в свои светлые минуты
неужели вам не видно в ваши светлые минуты

Стр. 96, строка 12.

в этих ужасах

в этих делах

Стр. 96, строка 13.

Ведь вы сами знаете

Неужели вы сами не знаете

Стр. 96, строка 28.

И потому вашему брату
и потому брату.

Стр. 96, строка 35.

что делаете, не для себя
что делаете. Перестаньте – не для себя

Стр. 96, строка 38.

живет в вас. Перестаньте, а если не хотите перестать, то делайте то же и надо мною, потому что до тех пор, пока я жив, и вы будете делать то же, я не перестану обличать вас.

живет в вас.

17. Машинописная копия рук. № 15. 14 лл. 4° и 3 отрезка тонкой бумаги стандартного формата. Копия с большим числом ошибок, допущенных машинисткой. Все они исправлены неизвестной рукой. Толстой внес в эту копию две мелкие поправки. На обложке В. Г. Чертков пометил карандашом: «Л. Н. Не могу молчать. Черновое (с двумя помарками карандашом Л. Н-ча)».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ

В 37-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого продолжается публикация его произведений, написанных в последние годы жизни. Здесь помещены относящиеся к 1906–1910 гг. художественные произведения, статьи, очерки.

Для правильной оценки включенных в этот том произведений следует учитывать систему взглядов Толстого в целом, в их совокупности, во всей сложности переплетения сильных и слабых сторон. Эти взгляды выражены не только в произведениях Толстого, но также в его дневниках и письмах, в которых читателю раскрывается потрясающая картина мучительных переживаний, вызванных у писателя все более и более ухудшавшимся положением народа, политической реакцией в стране, поисками пути изменения действительности и полным непониманием единственно возможного пути – революционной борьбы.

Годы, к которым относятся публикуемые в 37-м томе произведения, это годы безудержного террора, которым царское правительство стремилось задушить революционную борьбу. Истекающая кровью страна была покрыта виселицами, тюрьмы были переполнены, всякие проявления революционного протеста жестоко карались. Либеральная буржуазия, с ликованием встретившая поражение революции 1905–1907 гг., всемерно помогала самодержавию обманывать народ. Обнищание масс дошло до предела. Но гнев народа не мог быть подавлен никакими репрессиями и нарастал с каждым днем. Настроения пассивизма, непротivления, выражавшие слабые стороны взглядов крестьянства и нашедшие отражение и во взглядах Толстого, стали постепенно изживаться в массах под могучим влиянием пролетарской революционной борьбы и уроков первой русской революции.

Вся эта совокупность условий русской жизни нашла отражение и в эволюции Толстого, писателя, который переживал народные бедствия с такой силой, что страдания крестьянства стали его собственными страданиями.²²

В последний период жизни Толстой, при всех кричащих противоречиях своих взглядов, при всей интенсивности пропагандирования реакционной теории непротivления злу, не только не перестал быть обличителем существовавшей политической системы, но сам все отчетливее осознавал свой гражданский долг писателя, срывающего с правящей верхушки и эксплуататорских классов все и всяческие маски.

Великая роль Толстого–обличителя с особенной силой стала очевидной в 1908 г., когда все передовое человечество отметило восьмидесятилетие со дня его рождения. Всемирно–историческое значение Толстого тогда получило оценку от имени революционной России в статье Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Ленин охарактеризовал взгляды гениального художника как отражение силы и слабости крестьянской революционности в эпоху 1861–1904 гг. Он с гордостью писал о Толстом как страстном обличителе существовавшей системы, беспощадном критике эксплуатации и рабства, враге самодержавия, выразителе настроений широчайших масс крестьянства. И в то же время Ленин учил отделять в творчестве Толстого то, что принадлежит будущему, от того, что ушло в прошлое. Великий вождь пролетариата указал на опасность, которую представляло для судеб русской революции «толстовское непротivление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании».²³

Трудовой народ в приветствиях, посланных Толстому в связи с юбилеем,

выразил свою горячую любовь и благодарность за его самоотверженную деятельность обличителя и критика. Так, в послании рабочих Балтийского судостроительного завода говорилось:

«Из душных мастерских завода мы, люди тяжелого труда и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной родной матери, шлем Вам привет, что в лице Вашем национального гения, великого художника, славного и неутомимого искателя истины. Мы, русские рабочие, гордимся Вами как национальным сокровищем, и лишь хотели бы, чтобы и могучему созидателю новой России – рабочему классу – природа дала своего Льва Толстого».

И в то же время своей обличительной деятельностью Толстой вызывал острую ненависть царского правительства, правящих классов, церкви. Реакционная пресса все более усиливала погромную травлю писателя, либералы в своих лживо-лицемерных писаниях грубо извращали сущность его творчества. Царское правительство всеми силами пыталось (как откровенно признала официозная газета «Россия») пресечь «стремления придать почитанию гр. Толстого характер общественного сочувствия его деятельности, направленной против православной веры, против государства и государственных установлений».24 Разгул черносотенной травли дошел до таких пределов, что Иоанн Кронштадтский сочинил «молитву» о скорейшей смерти Толстого, а епископ Гермоген опубликовал «архипастырское обращение», содержащее отъявленные ругательства по адресу писателя.

Однако никакая травля не могла остановить обличительную деятельность Толстого. До конца своих дней он остался верен своему убеждению в том, что необходимо неустанно «обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат».25 Еще в 1890-х гг., в связи с преследованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам.... и пишу не нечаянно, а сознательно...»26 О том, что он не прекратит обличений существующих порядков, несмотря ни на какие репрессии, Толстой открыто заявил правительству в статье «По поводу заключения В. А. Молочникова» (1908).

Но, как отметил Ленин, «противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно кричащие».27 Замечательно сильный, искренний протест, гениальные обличения социальной несправедливости и лжи сочетались в деятельности писателя с проповедью нравственного самоусовершенствования, всепрощения, с надеждами на возможность отказа власть имущих от зла, их перевоспитания и т. д. Толстой – «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю».28

Противоречивость взглядов Толстого со всей отчетливостью выразилась и в одном из самых лучших его публицистических произведений – статье «Не могу молчать» (1908).

Эта статья, вызванная все возраставшим столыпинским террором, имела огромный резонанс. Мировое общественное мнение высоко оценило протест великого писателя против массовых казней революционеров и восставших крестьян. Несмотря на то, что «Не могу молчать» было напечатано за границей и могло появиться в России легально только в отрывках, этот, как тогда говорили, «манифест Толстого» получил большую известность.

Как следует из Дневника Толстого, непосредственным поводом к написанию статьи явились газетные сообщения о казни через повешение в Херсоне крестьян «за разбойное нападение на усадьбу землевладельца»²⁹. Однако содержание статьи оказалось значительно шире даже весьма острой и важной самой по себе темы о самодержавно-полицейском терроре: это было суровое обвинение всему существовавшему строю. Толстой подчеркнул, что террор был выражением непримиримой вражды царского правительства к представителям «лучшего сословия народа». Говоря о двенадцати казненных крестьянах, писатель продолжал: «...делается это, не переставая годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самими людьми, которые делают над ними эти страшные дела». Толстой говорит, что двенадцать казненных – это люди, «на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь» и что задушены они «теми самими людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают...»

Обличение правящих классов, «высшего сословия», глубоко враждебного народу, составляет пафос всей статьи. С ненавистью говорит Толстой о царском правительстве, которое ввело в систему казни «для достижения своих целей», о том, что «представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями», совершают «величайшие преступления, ложь, предательство, всякого рода мучительство...» Толстой гневно опроверг обычные утверждения царских чиновников и попов о том, что смертные казни – это единственное средство успокоения народа. Обличая правительство, он писал: «Все те гадости, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете...»

Как и в других своих статьях, Толстой указывал, что освобождение земельной собственности, передача ее народу является важнейшей задачей, без выполнения которой никакие «усмирения» и «успокоения» невозможны. В ужасах, происходивших в России, Толстой винил весь правительственный аппарат «от секретарей суда до главного министра и царя», – участников «ежедневно совершаемых злодеяний».

Но этот беспощадно-резкий и смелый протест, отражавший настроения народа, совмещался в статье «Не могу молчать» с увещаниями, основанными на религиозно-нравственном учении, увещаниями, обращенными к тем людям, которые покрыли Россию виселицами. «Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете, – писал Толстой в заключении статьи. – Перестаньте – не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того бога, который, как вы ни заглушаете

его, живет в вас». Однако этому предшествовала критика революционеров с позиций непротивления, то есть критика той единственной силы, которая только и могла смести до основания ненавистный Толстому строй угнетения и рабства.

Определяющей и самой сильной стороной статьи является позиция Толстого–обличителя. В том, что он выступал своей статьей прежде всего в этой роли, свидетельствуют и его собственные признания. «Знаю я, – пишет Толстой, – что все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди». И далее следуют знаменательные слова: «Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством». Толстой признает, что не выступать с обличением людей, совершающих преступления, – все равно что быть участником преступлений, быть в кругу тех людей, которыми порождена «нищета народа, лишённого первого, самого естественного права человеческого, – пользования той землей, на которой он родился». С ненавистью ко всем виновникам народных бедствий, с страстью негодования Толстой восклицал:

«Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду».

И далее он заявлял о своем намерении обличать и бороться против зла, утверждая: «...буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее...»

Обличительная сила статьи «Не могу молчать» была так велика, что перекрывала места, выражавшие слабые, реакционные стороны толстовского учения. Это было очевидно и для сторонников реакции. Статья смогла быть отпечатана в России только нелегально. В Севастополе издатель газеты, напечатавший ее, был арестован, другие газеты штрафовались даже за помещение отдельных отрывков. Апологеты самодержавия реагировали на статью с бешеной злобой, – это выражалось и в письмах, которые приходили в Ясную Поляну. До какого озверения доходили те, против которых было направлено обличение Толстого, свидетельствует следующий факт. В день восьмидесятилетия на его имя пришла посылка с веревкой и письмом такого содержания: «Граф. Ответ на ваше письмо.³⁰ Не утруждайте правительство, можете сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи».

Характерно, что официозная «Россия» в статье, посвященной «Не могу молчать», утверждала, что Толстой «по всей справедливости» должен бы быть заключенным «в русскую тюрьму», если бы этому не мешала его известность как художника.³¹

Марксистская истина, согласно которой ложные взгляды не могут быть выражены в действительно высокой художественной форме, находит свое подтверждение и в некоторых включенных в 37–й том произведениях. Всюду, где Толстой пишет о реальных процессах, происходивших в самой действительности, всюду, где он изображает реальные поступки людей в

типических обстоятельствах, виден величайший художник, автор таких шедевров мировой литературы, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». И вместе с тем те страницы произведений, которые заняты морализированием и подчинены пропаганде реакционных идей непротивления и самоусовершенствования, носят чисто иллюстративный характер к заранее заданной теме, лишены живописной образности, яркости описаний. Это относится и к таким произведениям, как «Разговор с прохожим», и к статьям. Достаточно сравнить с этой точки зрения темпераментно–страстные, обличительные страницы «Не могу молчать» и стилистически однообразную, не содержащую ни одного яркого образа статью «Любите друг друга» с ее ложной идеей о том, что «подчиненным и бедным» даже легче «исполнить учение любви», смириться, чем «властвующим, богатым». В произведении «Кто убийцы? Павел Кудряш» самые впечатляющие и горячие строки посвящены описанию того, как зарождалось и развивалось у Павла стремление бороться с окружающей несправедливостью.

В. И. Ленин, так высоко оценивший всемирно–историческое значение Толстого еще при жизни писателя, вместе с тем со всей резкостью писал о вреде толстовской проповеди «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно религии...», о его стремлении «поставить на место попов по казенной должности, попов по нравственному убеждению», о культивировании «самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины».32 Отсюда очевиден и реакционный смысл религиозных произведений Толстого. В одном из своих писем к Горькому Ленин разъяснил, почему «всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой...» – особенно опасно. «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки».33 В какие бы наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против научного понимания жизни и ее закономерностей, разоружая человека в его борьбе за изменение действительности, за осуществление в сознательной практической деятельности великих социальных задач.

К чести Толстого, его религиозно–нравственное учение нередко вызывало у него самого мучительные сомнения.

Изучение произведений, писем, Дневников Толстого последних лет его жизни говорит о том, что после революции 1905–1907 гг. он, хотя и сохраняя систему своих взглядов, все же не мог не отразить в какой–то степени сдвиги, произошедшие в крестьянстве. Сомнения и колебания Толстого в истинности своего религиозно–нравственного учения нельзя рассматривать только как противоречия его личной мысли, – такая постановка вопроса противоречит ленинскому подходу к литературе.

К концу жизни Толстой, впадая в еще более разительные противоречия, вместе с тем стал высказывать сомнения в правильности своих рассуждений о «всеобщей любви» и «непротивлении» как способе устранения социального зла. Об этом свидетельствуют многие его признания, сделанные для себя и лишь сравнительно недавно ставшие достоянием читателей. Так, например, в 1909 г., когда Толстой так активно пропагандировал идею «всеобщей любви», он записал в своем

Дневнике: «Главное, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.».34 Вопреки своему принципу отрицания революционного насилия, он вынужден был признаться самому себе: «Мучительное чувство... унижения, забитости народа. Простительна жестокость и безумие революционеров».35 А по поводу своей религии он однажды записал: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, нерешительности».36

Все эти трагические раздумья Толстого были вместе с тем отражением тех благотворных сдвигов, которые происходили в сознании русского крестьянства после революции 1905–1907 гг. Еще в середине 1904 г. Толстой заметил, что время, когда народ «хотел обожать и покоряться», уже прошло: «Теперь же народ уже не обожает и не только не хочет покоряться, но хочет свободы».37 В предисловии к альбому картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «...с характерным для худших сторон «толстовщины» сожалением...»38, но констатировал, что русский народ с удивительной скоростью научился делать революцию. И в самом деле, русский народ, накапливая революционную энергию, участь на опыте 1905 г., шел навстречу великому перевороту, обозначившему новую эпоху всемирной истории. В ходе подготовки к этому перевороту революционная Россия взяла на вооружение наследие Толстого–реалиста и обличителя и, во имя торжества великих идей свободы и справедливости, безоговорочно отвергла и осудила «толстовщину», уходящую в прошлое.

Б. Мейлах

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением особенностей правописания, которое не унифицируется.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем

дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов означает, что текст печатается впервые; ** – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

Иллюстрации

Фототипия с портрета Л. Н. Толстого 1908 г. между стр. IV и V.

Автотипия первой страницы первой рукописи «Не могу молчать» между стр. 82 и 83.

Примечания

В газетах появились потом опровержения известия о казни двадцати крестьян. Могу только радоваться этой ошибке: как тому, что задавлено на восемь человек меньше, чем было в первом известии, так и тому, что эта ужасная цифра заставила меня выразить в этих страницах то чувство, которое давно уже мучает меня, и потому только, заменяя слово двадцать, словом двенадцать, оставляю без перемены всё то, что сказано здесь, так как сказанное относится не к одним двенадцати казненным, а ко всем тысячам, в последнее время убитым и задавленным людям. ←

2

Переделано из: 3 ←

3

Можно прочесть: развращали ←

4

Слово: двадцатью написано крупно. ←

5

Далее написано между строк и зачеркнуто: И делается это всё в России, в той России, в законах которой не было смертной казни. ←

6

В подлиннике: эту ←

7

Абзац редактора. ←

8

Зачеркнуто: и тем гнусным обманом, который выдается народу за религию, за закон бога, которому насильно обучаются все люди. ←

9

Абзац редактора. ←

10

В подлиннике: сознанного ←

11

Абзац редактора. ←

12

Зачеркнуто: писать ему о ←

13

Зач.: только туп и потому рожден ←

14

Слово: делать написано поверх зачеркнутого: творить. ←

15

Зач.: «единое на потребу». ←

16

В подлиннике: переходу. ←

17

Подчеркнуто дважды. ←

18

Подчеркнуто дважды. ←

19

[Пусть господа убийцы первые подадут нам пример,] ←

20

Н. Н. Гусев, «Два года с Л. Н. Толстым», изд. 2-е, М. 1928, стр. 119. ←

21

Там же, стр. 156. ←

22

Более подробную характеристику взглядов Л. Н. Толстого в последние годы его жизни см. в предисловии к тому 77 настоящего издания. ←

23

В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 185. ↵

24

«Россия», 30 июля 1908 г., № 823. ↵

25

Т. 54, стр. 52. ↵

26

Т. 84, стр. 128. ↵

27

В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180. ↵

28

В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295. ↵

29

См. запись в Дневнике 12 мая 1908 г. ↵

30

«Письмом» названо «Не могу молчать», где Толстой, в порыве

негодования и скорби, писал о том, что он хотел бы заключения в тюрьму и готов разделить участь повешенных крестьян. ←

31

«Точка над і». «Россия», 30 июля 1908 г., № 823. ←

32

В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180. ←

33

В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 90. ←

34

Т. 57, стр. 200. ←

35

Т. 57, стр. 82. ←

36

Т. 58, стр. 65. ←

37

Т. 55, стр. 62. ←

Слова Ленина об этом предисловии (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 251). ↵